

Б И Б Л И О Т Е К А



ОГОНЁК

№ 47

1976



Евгений ЕВТУШЕНКО

СПАСИБО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»
М О С К В А

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 47

Евг. ЕВТУШЕНКО

СПАСИБО

ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА

Издательство «ПРАВДА»
Москва, 1976

Евг. ЕВТУШЕНКО

Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1933 года на станции Зима, Иркутской области. Работал в колхозе, затем в геологоразведочных экспедициях в Казахстане и на Алтае — старшим рабочим и коллектором. Первые стихи были опубликованы в 1949 году. Автор поэтических сборников «Разведчики грядущего», «Третий снег», «Шоссе энтузиастов», «Стихи разных лет», «Обещание», «Яблоко», «Лук и лира», «Взмах руки», «Нежность», «Идут белые снеги», «Отцовский слух», а недавно вышел двухтомник поэта.

Неоднократно печатался в «Правде», «Известиях», «Комсомольской правде», «Огоньке», «Юности», «Новом мире», автор популярных песен «Хотят ли русские войны», «Бежит река», «В нашем городе дождь», «А снег идет», «Вальс о вальсе», «Пока убийцы ходят по земле», «Не спеши», «Товарищ гитара». На слова Евг. Евтушенко композитором Д. Д. Шостаковичем создана 13-я симфония и симфоническая поэма «Казнь Степана Разина».

Евг. Евтушенко много ездил по Советскому Союзу, побывал в Болгарии, Румынии, Чехословакии, Югославии, Гане, Того, Либерии, Сенегале, Кубе, Западной Германии, Франции, Италии, Англии, Дании, Австрии, Финляндии, США, Японии.

Стихи его переводились на болгарский, румынский, венгерский, польский, чешский, сербскохорватский, немецкий, французский, английский, испанский, финский, шведский, норвежский, японский, хинди, иврит, португальский, итальянский и языки народов СССР.

В настоящее время работает над стихами и прозой.

ОЛЬХОВАЯ СЕРЕЖКА

Д. Батлер

Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую,
начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать,
задумаюсь вновь и, как нанятый, жизнь истолковываю
и вновь прихожу к невозможности истолковать.
Себя низвести до пылиночки в звездной туманности,
конечно, старо, но поддельных величий умней,
и нет униженья в осознанной собственной малости —
величие жизни печально осознано в ней.
Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,
но сдунешь ее — все окажется в мире не так,
и, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая,
когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
Сережка ольховая выше любого пророчества.
Тот станет другим, кто тихонько ее разломил.
Пусть нам не дано изменить все немедленно, как хочется,—
когда изменяемся мы, изменяется мир.

И мы переходим
 в какое-то новое качество,
как вдаль отплываем
 к неведомой новой земле,
и не замечаем,
 что начали странно покачиваться
на новой воде
 и совсем на другом корабле.
Когда возникает
 беззвездное чувство отчужденности
от тех берегов,
 где рассветы с надеждой встречал,
мой милый товарищ,
 ей-богу, не надо отчаиваться.
поверь в неизвестный,
 пугающе черный причал.
Не страшно вблизи
 то, что часто пугает нас издали.
Там тоже глаза, голоса,
 огоньки сигарет.
Немного обвыкнешь,
 и скрип этой призрачной пристани
расскажет тебе,
 что единственной пристани нет.
Яснеет душа,
 переменами неозлобимая.
Друзей, не понявших
 и даже предавших, прости.
Прости и пойми,
 если даже разлюбит любимая,
сережкой ольховой
 с ладони ее отпусти.
И пристани новой не верь,
 если станет прилипчивой.
Призвание твое —
 беспричальная дальняя даль.
С шурупов сорвись,
 если станешь привычно привинченный,
и снова отчаль
 и плыви по другую печаль.
Пускай говорят:
 «Ну когда он и впрямь образумится!»
А ты не волнуйся —
 всех сразу нельзя утешить.

Презренный резон:
«Все уляжется, все образуется...»
Когда образуется все,
то и незачем жить.
И необъяснимое —
это совсем не бессмыслица.
Все переоценки нисколько смущать не должны,
ведь жизни цена
не понизится
и не повысится:
цена неизменна
тому, чему нету цены.
...С чего это я?
Да с того, что одна бестолковая
кукушка-болтушка
мне долгую жизнь ворожит.
С чего это я?
Да с того, что сережка ольховая
лежит на ладони
и, словно живая, дрожит...

В МИГ ПОЛУОСЕНИ-ПОЛУЗИМЫ

В миг полуосени-полузимы
что твоя туфелька мне ворожила?
Мертвые листья она ворожила,
что-то выпрашивала у земли,
только земля свой ответ отложила.
Туфелька, как беззащитный зверек,
ткнулась в ботинок мордочкой мокрой.
Был он какой-то растерянный, мертвый,
он от ответа себя уберег,
ну а вокруг шелестящие метлы
мертвые листья сгребали у ног.

Мертвые листья еще не дождли.
Я был дожден. Наша песенка спета,
если не взорванность чьей-то души,
в собственной мы не находим ответа.
Нету мудрее и горше совета:
мертвые листья не вороши.
Рядом в песке твой ребенок играл.
В доме напротив твой муж фанатично

делал, так веря тебе безгранично,
маслом пейзаж, где закат умирал.
Я себя чувствовал подло, двулично,
словно я краски чужие украл.
Мертвые листья сжигали привычно.
Дым восходил, как беззвучный хорал.

Был на пейзаже хор воронья,
голые сучья, торчащие мгlisto,
были те самые мертвые листья,
ты, твой ребенок, пустая скамья.
Господи, вдруг под провидческой кистью
вырасту тенью предательства я?

Жизнь не простила забавы мои.
Жадным я был. Эта детская жадность
переходила порой в беспощадность
к яблокам тем, что надкусывал и
сразу бросал. Ты преступна, всеядность,
если ты горе для чьей-то семьи.

Станет вина перед ближним виной
передо всем человеческим родом.
Так же грешно, словно горе — народам,
горе семье принести хоть одной.
Подло ломать чью-то жизнь мимоходом,
если не можешь построить иной.

Колокол вещей — трамвайный звонок.
Я на подножке. Летят мостовые.
Снова один. Ничего. Не впервые.
Лучше я буду совсем одинок,
чем, согреваячись, души живые
жечь, будто мертвые листья у ног.
Кончено все. Я иначе не мог.

НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ

И. Кваша

Любовь неразделенная страшна,
но тем, кому весь мир лишь биржа,
драка,
любовь неразделенная смешна,
как профиль Сирано де Бержерака.

Один мой деловитый соплеменник
сказал жене в театре «Современник»:
«Ну что ты в Сирано своем нашла?
Вот дура...

Я, к примеру, никогда бы
так не страдал из-за какой-то бабы.
Другую бы нашел —

и все дела!»

В затравленных глазах его жены
забито промелькнуло что-то вдовье.
Из мужа перло —

аж трескали швы —
смертельное духовное здоровье.

О, сколько их, таких здоровяков,
страдающих отсутствием страданий.

Для них есть бабы —

нет Прекрасной дамы.

А разве сам я в чем-то не таков?

Зевая, мы играем, как в картишки,
в засаленные, стертые страстишки,
боясь трагедий,

истинных страстей.

Наверное, мы с вами просто трусы,
когда мы подгоняем наши вкусы
под то, что подоступней, попростей.

Не раз шептал мне внутренний подонок
из грязных подсознательных потемок:

«Э, братец,

эта — сложный материал!»

И я трусливо ускользал в несложность,

И, может быть, великую возможность
любви неразделенной потерял.

В любви вы либо рыцарь,

либо вы

не любите.

Закон есть непреклонный:

в ком дара нет любви неразделенной,
в том нету дара божьего любви.

Дай бог познать страданий благодать,
и трепет безответный, но прекрасный,
и счастье безнадежно ждать и ждать,
и счастье глупой верности несчастной.

Быть благодарным — это мой был долг.
Ища защиты в беззащитном теле,
зарылся я, зафлаженный, как волк,
в доверчивый сугроб ее постели.

Но, как волчонок загнанный, одна,
она в слезах мне щеки обшептала,
и то, что благодарна мне она,
меня стыдом студеным обжигало.

Мне б окружить ее блокадой рифм,
теряться, то бледнея, то краснея,
но женщина! меня! благодарит!
за то, что я! мужчина! нежен с нею!

Как получиться в мире так могло?
Забыв про смысл ее первопричинный,
мы женщину сместили. Мы ее
унизили до равенства с мужчиной.

Какой занятный общества этап,
коварно подготовленный веками:
мужчины стали чем-то вроде баб,
а женщины — почти что мужиками.

О господи, как сгиб ее плеча
мне вмялся в пальцы голодно и голо
и как глаза неведомого пола
преображались в женские, крича!

Потом их сумрак полузаволок.
Они мерцали тихими свечами...
Как мало надо женщине, — мой бог! —
чтобы ее за женщину считали.

* * *

Ничто не сходит с рук —
ни самый малый крюк
с дарованной дороги,
ни бремя пустяков,
ни дружба тех волков,
которые двуноги.

Ничто не сходит с рук:
ни ложный жест, ни звук —
ведь фальшь опасна эхом, —
ни жадность до денег,
ни хитрые шаги,
чреватые успехом.

Ничто не сходит с рук —
ни позабытый друг,
с которым неудобно,
ни кроха муравей,
подошвою твоей
раздавленный беззлобно.

Таков проклятый круг:
ничто не сходит с рук,
а если даже сходит,
ничто не задарма —
и человек с ума
сам незаметно сходит...

СТАРЫЙ ДРУГ

Мне снится старый друг,
 который стал врагом,
но снится не врагом,
 а тем же самым другом.
Со мною нет его,
 но он теперь кругом,
и голова идет
 от сновидений кругом.
Мне снится старый друг,
 крик-исповедь у стен,
на лестнице такой,
 где черт ломает ногу,
и ненависть его,
 но не ко мне, а к тем,
кто были нам враги
 и будут, слава богу.
Мне снится старый друг,
 как старая любовь,

которая вовек
уже невозвратима.
Мы ставили на риск,
мы ставили на бой,
и мы теперь враги,
два бывших побратима.
Мне снится старый друг,
как снится плеск знамен
солдатам, что войну
закончили убого.
Я без него — не я,
он без меня — не он,
и если мы враги,
уже не та эпоха.
Мне снится старый друг. Он, как и я, дурак.
Кто прав, кто виноват,
я выяснять не стану.
Что новые друзья?
Уж лучше старый враг.
Враг может новым быть,
а друг — он только старый...

НО ПРЕЖДЕ, ЧЕМ...

Любимая,
и это мы с тобой,
измученные, будто бы недугом,
такою долголетнею борьбой
не с кем-то третьим лишним,
а друг с другом?
Но прежде, чем... Наш сын кричит во сне!
расстаться... Ветер дом вот-вот развалит!
Приди хотя бы раз в глаза ко мне,
приди твоими прежними глазами.
Но прежде, чем расстаться, как ты просишь,
где пустота,
прикидываясь роццей,
луну притворно нянчит на груди.
Но прежде, чем расстаться, как ты просишь,
услышь в ночи, как всхлипывает лед,

и обернется прозеленью просинь,
и прозелень в прозрение перейдет.
Но прежде, чем...

Как мы жестоко жили!
Нас бы с тобой вдвоем по горло врыть!
Когда мы научились быть чужими?
Когда мы разучились говорить?
В ответ:

«Не называй меня любимой...»
Мне поделом.

Я заслужил.
Я нем.
Но всею нашей жизнью,
гнутой,
битой,
тебя я заклинаю:
прежде, чем...
Ты смотришь на меня,
как неживая,
но я прошу,
колени преклоня,
уже любимой и не называя:
«Мой старый друг,
не покидай меня...»

КОГДА МУЖЧИНЕ СОРОК ЛЕТ

Когда мужчине сорок лет,
ему пора держать ответ:
душа не одряхлела? —
перед своими сорока,
и каждой каплей молока,
и каждой крошкой хлеба.

Когда мужчине сорок лет,
то снисхожденья ему нет
перед собой и богом.
Все слезы те, что причинил,
все сопли лживые чернил
ему выходят боком.

Когда мужчине сорок лет,
то наложить пора запрет
на жажду удовольствий:

ведь если плоть не побороть,
урчит, облизываясь, плоть —
съесть душу удалось ей.

И плоти, в общем-то, кранты,
когда вконец замуслен ты,
как Лжехристос, губами.
Один роман, другой роман,
а в результате — лишь туман
и голых баб, как в бане.

До сорока яснее цель.
До сорока вся жизнь, как хмель,
а в сорок лет — похмелье.
Отяжелела голова.
Не сочетаются слова.
Как в яме новоселье.

До сорока, до сорока
схватить удачу за рога
на ярмарку мы скачем,
а в сорок с ярмарки пешком
с пустым мешком бредем тишком,
обворовали — плачем.

Когда мужчине сорок лет,
он должен дать себе совет:
от ярмарок подальше.
Там не обманешь — не продашь.
Обманешь — сам уже торгаш.
Таков закон продажи.

Еще противней ржать, дрожа,
конем в руках у торгаша,
сквалыги, живоглота.
Два равнозначные стыда —
когда торгуешь и когда
тобой торгует кто-то.

Когда мужчине сорок лет,
жизнь его красит в серый цвет,
но если не каурым,
будь серым в яблоках конем
и не продай базарным днем
ни яблока со шкуры.

Когда мужчине сорок лет,
то не сошелся клином свет
на ярмарочном гае.
Все впереди, ты погоди.
Ты лишь в комедь не угоди,
но не теряйся в драме!

Когда мужчине сорок лет,
или распад, или расцвет —
мужчина сам решает.
Себя от смерти не спасти,
но, кроме смерти, расцвести
ничто не помешает.

ПРОГУЛКА С СЫНОМ

Какой искристый легкий скрип
сапожек детских по снежку,
какой счастливый детский вскрик
о том, что белка на суку.

Какой пречистый божий день,
когда с тобой ребенок твой,
и голубая его тень
скользит по снегу за тобой.

Ребенок взрослым не чета.
Он, как упрек природы нам.
Жизнь без ребенка — нищета.
С ребенком — ты ребенок сам.

Глаза ребенка так блестят,
как будто в будущем гостя.
Слова ребенка так свежи,
как будто в мире нету лжи.

В ребенке дух бунтовщика.
Он, словно жизнь вся, целиком,
и дышит детская щека
морозом, солнцем, молоком.

Щека ребенка пахнет так,
как пахнет стружками верстак,

и как черемуховый сад,
и как арбуза алый взгляд,
и как пастуший козий сыр,
как весь прекрасный вечный мир,
где так смешались яд и мед,
где тот, кто не ребенок, — мертв.

* * *

А собственно, кто ты такая,
с какою такою судьбой,
что падаешь, водку лакая,
а все же гордишься собой?

А собственно, кто ты такая,
когда, как последняя мразь,
пластмассою клипсов сверкая,
играть в самородок взялась?

А собственно, кто ты такая,
сомнительной славы раба,
по трусости рты затыкая
последним, кто верит в тебя?

А собственно, кто ты такая
и, собственно, кто я такой,
что вою, тебя попрекая,
к тебе прикандален тоской?

КРЕСТНЫЙ ХОД

Был крестный ход у пригородной церкви,
Был поп с ручным Везувием на цепке,
толпа старух со свечками в руках.
Стоящие едва пенсионеры
хоругви поднимали с песней веры,
и лик Христа был шаток в облаках.

На «Волгах», «Жигулях» и «Запорожцах»
наехали — к Христу не продерешься!
Рыгали, перли, ближними хрустя.
Лапеж пошел — попутная потеха,
как будто бы на матче, где для смеха
в футбол играют головой Христа.

Вновь проявилась сущность человека —
получше раздобыть себе местечко.
Что взято в драке — господом дано.
И превратилась всенощная в битву —
ведь все равно мальчишкам под битлов,
что Иисус Христос, что Адамо.

Примазались к старухам в этой свалке
две прискромненных интеллигентки,
бочком демократично семеня.
Себя за стену бригадильцев спрятав,
с мордягами противных бюрократов
вышагивала важно поповня.

Портвейном пахло, ладаном и потом,
прокисшим, застоявшимся болотом,
где свистнуть не пытается кулик.
Прости, Христос, вопрос жестокосердый
но стоило ли быть когда-то жертвой,
чтоб частью пошлых зрелищ стал твой лик?

Но чем виновна в пошлости старуха,
которую возня и заваруха
пугают в разгулявшейся толпе?
Перетрудив свечой поднятой руку,
как будто бабка к отнятому внуку,
она, Христос, так тянется к тебе.

Когда пошла обратно в церковь паства,
дверь выдавила лишний люд, как пасту,
и крик раздался, слышный за версту.
Дверь так старухе руку припластала,
что пальцы лишь до первого сустава
за дверь проникли, тянучись к Христу.

ПЛАЧ ПО БРАТУ

С кровью из клюва,
тепел и липок,
шеей мотая по краю ведра,
в лодке качается гусь,
будто слиток
чуть черноватого серебра.
Двое летели они вдоль Вилюя.

Сизый мой брат,
я прошу хоть дробины,
зависть мою запоздало кляня,
но в наказание мне люди убили
первым — тебя,
а могли бы — меня...»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК

У подножия Гагринского хребта
есть один удивительный памятник.
Гробовая плита,
словно парус взвита,
нагоняя на кладбище панику.
Строго траурен цвет,
но печали в нем нет,
потому что резцом ненавязчивым
в этом камне воспет
двадцати с лишним лет
Закарян Арутюн Амазаспович.
С фото, видимо, он
в мрамор переведен.
Белозубый стоит, улыбается,
и в руках
белозубый аккордеон
улыбается,
как полагается.
Над курчавым вихром
кепор-аэродром
набочок
упоительно сдвинут,
и живым серебром
под грохочущий гром
Арутюн Амазаспович вымыт.
Ему надпись к лицу:
«Сыну, мужу, отцу...»
Озорно он играет,
покачивается.
Можно быть и отцом,
но таким молодцом,
что и после конца
не оканчиваться.
Голосила родня,
его хороня.

Начертали:

«Погиб трагически...»

А у ног задарма

на дорогу хурма

и открытое пиво египетское.

С жизнью кончен расчет,

но великий почет

после смерти

остаться личностью.

Вниз туман течет —

его к людям влечет.

Тянет вечностью,

тянет античностью.

Арутюн Амазаспович,

людям ты рад.

Пальцы вбей в инструмент,

выше голову,

чтобы звуки как град,

чтоб вспорхнули с оград

жестяные могильные голуби.

Кто патриций, плебей —

не пойму, хоть убей,

ведь играют крестьянские клавиши

для морских зыбей

и для всех голубей,

не забыв жестяных,

что на кладбище.

Смерти нет для того,

в ком живет родство

с миром подлинным,

а не монашеским.

Еще встретимся мы

и вкусим хурмы,

Закарян Арутюн Амазаспович!

ИРА

Здравствуй, Ира!

Как живешь ты, Ира?

Без звонка опять пришел я,

ибо

знаю, что за это ты простишь,

что меня ты снова не прогонишь,

а возьмешь — и чем-нибудь покормишь
и со мною вместе погрустишь.
Я тебе не муж и не любовник,
но пальто не сняв еще,

в ладонях
руку твою бережно задерживаю
и целую в лоб тебя,

зардевшуюся.
Ты была б женой такую чудною —
преданною,

верною,
чуткою.

А друзья смеются:

«Что ты, Женечка!

Да и кто на ней, подумай, женится!

Сколько у ней было-перебыло.

Можно ли, чтоб эта полюбила!»

Ты для подлецов была удобная,

потому что ты такая добрая.

Как тебя марали и обмарывали,
как тебя,

родимая,
обманивали.

Скоро тридцать —

никуда не денешься,

а душа твоя такая девичья!

Вот сидишь ты,

добротой светясь,

вся полна застенчивым и детским.

Как же это:

что тебе сейчас

есть с кем спать,

а просыпаться не с кем?!

Пусть тебе он все-таки встретится,

тот, кто добротой такой же светится.

Пусть хранит тебя не девственность детская,

а великая девственность —

женская.

Пусть щадит тебя тоска нещадная,

дорогая моя,

нежная,

несчастливая...

ХУДОЖНИЦА

Я обожаю вас,
когда вы напоказ
меня совсем-совсемушки не любите
и, хмурясь детским лбом,
в свой тверденький альбом
страшенные рисуночки малюете.

Глаза подведены.
Намечек седины
вы в черных волосах своих лелеете.
Вы говорите зло,
что вам не повезло,
но что себя нисколько не жалеете.

Вы входите в метро,
как девочка Пьеро
или как Мэри Пикфорд с пистолетиком.
Он так на вас сердит,
в сумашке вашей скрыт,
чтоб рассчитаться с этим белым светиком.

Вам бы в немом кино
сниматься заодно
с блистательными Дугласами Фербенксами.
А в звуковом — слова.
Их суть для вас мертва.
Вам никаким словам давно не верится.

Когда в джинсовке вы
на улицы Москвы
выходите брезгливо из парадного,
то шубу у ларька
не кинет вам рука
когда-тошнего Кторов — Паратова.

Вам нужен хор цыган,
любовник-уркаган,
лихач такой, что сердце заколотится.
Рисунки-сорванцы
похожи на «Столбцы»
когда-то молодого Заболоцкого.

Я обожаю вас,
как во плоти рассказ
про годы нэпа, мрачного,
порочного,
и если вы добры,
прошу у вас любви,
как будто бы прошу любви у прошлого.

МОЛИТВА

Как бы я в жизни ни куролесил,
весел — невесел,
где-то в Непале трезв или пьян,
или в опале,
как ни взлетел бы я,
как бы ни пал,
как бы молиться судьба ни велела, —
нету молитвы другой у меня:
«Только бы,
только бы ты не болела,
только бы,
только бы не умерла...»
Если на улице вижу больницу, —
мысль о тебе,
будто нож под ребром.
Кладбищ нечистая совесть боится.
Местью грозят:
«Мы ее отберем!
В тех, кто любимых пытается, —
нет бога.
Смерти страшной истязанье твое.
Пусть отдохнет.
Ее спрячем глубоко,
чтобы ты больше не мучил ее!»
«Боже, —
кричу я всей болью глубинной, —
что мне бессмертья сомнительный рай!
Пусть я умру,
но не позже любимой —
этою карой меня не карай!»

НЕПОДВИЖНОСТЬ

Мы с тобою старые, как море,
море, у которого лежим.
Мы с тобою старые, как горе,
горе, от которого бежим.

Мы устали, милая, с тобою.
Не для нас белеют корабли.
Мы упали около прибоя,
мы упали около любви.

Добрая всезнающая бездна
нас ничем не будет обижать.
Неподвижность — лучший способ бегства,
если больше некуда бежать.

Я тебя тихонечко поглажу.
Жизнь еще пока не отняла
собственность единственную нашу —
наши суверенные тела.

Но идут спортсмены-исполины —
сочетанья бицепсов и ласт,
и, роняя море нам на спины,
браво перешагивают нас.

Шутят басовыми голосами,
но, как будто детский лопоток,
слышу что-то вроде: «Колоссально»,
и еще: «Железно», «Молоток».

Я смотрю, завидую, жалею.
Думаю: какие молодцы.
Колоссально, милая, железно
то, что мы с тобой не молотки.

Я впадаю, может быть, в сусальность,
но среди тщеславной суеты
нежелезность и неколоссальность,
думаю, не худшие черты.

Мягкость — это тоже крепкий бицепс,
ибо не такая благодать,
скажем, твердокаменно влюбиться
или нестигаемо рыдать.

Я дышу твоими волосами,
словно незнакомою страной,
счастлив тем, что я неколоссален,
тем, что нежелезна ты со мной.

Мы легли на синий твой халатик
с морем на губах и на спине.
Проявляем сильный свой характер —
позволяем слабости себе.

Как песчинки с мокрой твоей кожи
тихо переходят на мою,
наши души переходят тоже.
Я уже свою не узнаю.

СВИДАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ

Свидания с тобой теперь в больнице.
Медсестры —

как всевидящий конвой.
Лицо твое растерянно бодрится...
Оставьте мою милую живой!
Когда ты остаешься там,

в палате,
в своем казенном байковом халате,
я —

брошенный тобой ребенок твой.
Я сам тебя себе чужою сделал.
Что натворил я с нервами и с телом
единственной, которую люблю?
И вдруг ты говоришь не как чужому:
«Ты кашляешь?»

Попил бы ты боржому...
Здесь есть в буфете.

Я схожу куплю».
Прости за исковерканные годы,
за все мои возвышенные оды

и низость плоти после этих од —
души и тела горестный разброд.
И то, что ты болеешь, разве странно?
Болезнь всегда первоначально — рана,
как эту рану ты ни назови.
К любви счастливой ощущая зависть,
болезни, как гадюки, заползают
в проломы душ, в развалины любви.
Но почему за эти преступления
ты платишься,

а я гуляю,
пью?

Пойду к врачам и встану на колени:
«Спасите мне любимую мою!

Вы можете ли знать,
товарищ доктор,
зондирующий тайны бытия,
какой она бывает к людям доброй,
а если злой бывает —

это я.

Вы можете ли знать,
товарищ доктор,
какой она узнала в жизни ад,
какой она узнала яд и деготь,
а я — ей снова деготь,

снова яд.

Вы можете ли знать,
товарищ доктор,
что если есть во мне какой-то свет,
то из ее души

его я добыл
и только беспросветность дал в ответ.
В меня свой дух,

в меня свое здоровье
она переливала:

«Не болей!»

Возьмите до последней капли крови
всю кровь мою

и перелейте ей».

Усталый,
как на поле боя Тушин,
мне доктор

говорит

с такой тоской:

«Ей ничего не надо...

Только нужен

покой —

вы понимаете? —

покой!»

Покой?

Скажите, что это такое?

Как по-латыни формула покоя?

О, почему,

предчувствиям не вняв,
любимых сами в пропасть мы бросаем,
а после так заботливо спасаем,
когда лишь клочья платья на камнях?

СПАСИБО

Ю. Любимову

Ты скажи слезам своим «спасибо»,
их не поспешая утереть.

Лучше плакать, но родиться, ибо
не родиться — это умереть.

Быть живым — пусть биту или гнуту, —
но в потемках плазмы не пропасть,
как зеленохвостую минуту
с воза мироздания украсть.

Вхрупывайся в радость, как в редиску,
смейся, перехватывая нож.

Страшно то, что мог ты не родиться,
даже если страшно, что живешь.

Кто родился — тот уже везучий.
Жизнь — очко с беззубой каргой.
Вытянутым быть — нахальный случай,
будто бы к семнадцати король.

В качке от черемушного чада,
пьяный от всего и ничего,
не могли очухаться от чуда,
чуда появления своего.

В небесах не ожидая рая,
землю ты попреком не обидь,

ибо не наступит жизнь вторая,
а могла и первая не быть.

Доверяй не тлению, а вспышкам.
Падай в молочай и ковыли
и, не уговаривая слишком,
на спину вселенную вали.

В горе озорным не быть зазорно.
Даже на развалинах души,
грязный и разодранный, как Зорба,
празднуя позорище, пляши.

И спасибо самым черным кошкам,
на которых покосился ты,
и спасибо всем арбузным коркам,
на которых поскользнулся ты.

И спасибо самой сильной боли,
ибо что-то все-таки дала,
и спасибо самой сирой доле,
ибо доля все-таки была.

МАМА

У сына и матери
есть роковое неравенство,
особенно если он взрослый
и только один.
Последний мужчина,
которому женщине хочется нравиться,
с которым нарядной ей хочется быть,—
это сын.
Когда моя мама
тихонько садится на краешек
постели моей,
сняв промокшие ботики с ног,
исходит из губ,
невеселых, но не укоряющих,
убийственно нежный вопрос:
«Что с тобою, сынок?»

Из сына ответа
и нежностью даже не выудишь.
Готов провалиться
куда-нибудь в тартарары,
я тупо бурчу: «Все в порядке...
А кстати, прекрасно ты выглядишь...» —
по лживым законам
трусливой сыновней игры.
Неужто сказать мне
действительно матери нечего,
тянувшей меня,
подневольню сгибаясь в дугу?
Я прячусь в слова:
«Успокойся... Напрасно не нервничай...»
Мне есть что сказать,
но жалею ее,
не могу.
Межа между нами
слезами невидимо залита,
но не перейти отчужденья межу.
На мамины плечи
немыслимо взваливать
все то, что на собственных еле держу.
Бывают случайны отцы.
Только мамы всегда
настоящие.
Ничто не заменит на свете ее самое,
и мать,
приходящая в гости,
потом уходящая,—
уже преступленье
жестокое сына ее.
Когда мы стареем,
тогда с запоздалым раскаяньем
мы к мамам приходим
на холмики влажной земли,
и мамам тогда,
ничего не скрывая,
рассказываем
все то, что когда-то
при жизни сказать не смогли...

ЗАВЕЩАНИЕ

Приходите ко мне на могилу,
приходите стрезва и взапой,
я и туфельку и бахилу
над собою услышу собой.

Приносите еловых, рябинных —
и каких захотите — ветвей,
приводите с собою любимых,
приводите с собою детей.

На траву и скамейку садитесь,
открывайте вино, если есть,
совершенно меня не стыдитесь —
окажите покойнику честь.

Говорите о спрятанной боли,
той, что исподволь мучает вас,
говорите хотя б о футболе —
я боюсь отрываться от масс.

Ни гранита и ни лабрадора,
ни возвышенных слез, ни речей,
а побольше бы милого вздора
над веселой могилой моей.

Не цитирования удостоите,
позабудьте как автора книг.
Как враля помяните! Устройте
каннибальский — детсадовский крик.

Обо мне привирайте и врите,
но чтоб все-таки это вранье
про Малаховку или Танти
походило чуть-чуть на мое.

Ведь в бахвальской судьбе своенравной
между стольких зубов и зубил
кое-что было все-таки правдой —
это то, что я все-таки был.

Небылицы окажутся былью,
и легендами быль обовьют,

но и сплетни меня не убили,
и легенды меня не убьют.

Я останусь не только стихами.
Золотая загадка моя
в том, что землю любил с потрохами
и земля полюбила меня.

И земля меня так захотела,
чтобы люди понять не смогли,
где мое отгулявшее тело,
где гуляющее тело земли.

И мне сладко до знобкости острой
понимать, что в конце-то концов
проступлю я в ненастную оскользь
между пальцев босых огольцов.

Мне совсем умереть не под силу.
Некрологи и траур — брехня.
Приходите ко мне на могилу,
на могилу, где нету меня.

СОДЕРЖАНИЕ

Ольховая сережка	3
В миг полуосени-полузимы	5
Неразделенная любовь	6
Метаморфозы	8
Благодарность	8
«Ничто не сходит с рук...»	9
Старый друг	10
Но прежде, чем...	11
Когда мужчине сорок лет	12
Прогулка с сыном	14
«А собственно, кто ты такая...»	15
Крестный ход	15
Плач по брату	16
Удивительный памятник	18
Ира	19
Художница	21
Молитва	22
Неподвижность	23
Свидание в больнице	24
Спасибо	26
Мама	27
Завещание	29

Евгений Александрович Евтушенко

СПАСИБО

Редактор — Е. А. Антошкин.
Технический редактор А. И. Евтушенко.

Сдано в набор 20/IX 1976 г.
А 06036. Подписано к печати 25/XI 1976 г.
Формат 70×108¹/₃₂. Условн. печ. л. 1,40.
Учетно-изд. л. 1,70. Тираж 100 000.
Изд. № 3033. Зак. № 2838. Цена 4 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47,
ГСП, ул. «Правды», 24.

ПРИ ПОЕЗДКАХ В ОТПУСК, КОМАНДИРОВКУ, В ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ УДОБНЕЕ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ НА АККРЕДИТИВЕ.

Аккредитив является именным документом, по которому деньги, внесенные в сберегательную кассу одного города или района, можно получить в сберегательной кассе любого города или района.

● Владелец аккредитива сберегательная касса выдает два документа: аккредитив и контрольный лист к нему. Эти документы надо хранить отдельно для того, чтобы в случае утраты одного из них деньги по аккредитиву не могло получить другое лицо.

● Существуют два вида аккредитивов: на любую сумму до 1 000 рублей и на сумму в 300 рублей. Деньги по аккредитиву до 1 000 рублей выплачиваются сберегательной кассой в полной сумме, внесенной на аккредитив. По аккредитиву в 300 рублей можно получить деньги в полной сумме или по частям, по 100 рублей. Для получения денег по аккредитиву установлен четырехмесячный срок со дня выдачи аккредитива.

После этого срока оплата аккредитива сберегательной кассой может быть произведена в течение трех лет только с разрешения управления Гострудсберкасс области, края или республики, название которой указано на бланке аккредитива.

● При получении денег по аккредитиву его владелец должен предъявить в сберегательную кассу паспорт или заменяющий его документ.

Владелец аккредитива может доверить получение денег по аккредитиву другому лицу.

Российское республиканское
управление Гострудсберкасс